

Николай Лесков

Дама и фееёла



Николай Семёнович Лесков

Дама и фефёла

*Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=175236*

Аннотация

«Весною 1894 года один из известных русских писателей высказал несколько смелых мыслей о том, какие «подруги жизни» лучше для литератора – образованные или необразованные. Разбиралось и то, какие удобства и неудобства представляются литератору в сожительстве с женщиною образованною и что он может встретить с простою женщиною малого развития...»

Содержание

I	4
II	6
III	9
IV	12
V	15
VI	18
VII	23
VIII	26
IX	29
X	33
XI	36
XII	41
XIII	45
XIV	48
XV	52
XVI	58
XVII	61
XVIII	68
XIX	73
XX	78
XXI	81
XXII	83

Николай Лесков

Дама и фефёла

(Из литературных воспоминаний)

Ученик спросил мудрого: не знаю, жениться мне или нет?

Мудрец ему отвечивал: поступай как знаешь, – все равно будешь раскаиваться.

I

Весною 1894 года один из известных русских писателей высказал несколько смелых мыслей о том, какие «подруги жизни» лучше для литератора – образованные или необразованные. Разбиралось и то, какие удобства и неудобства представляются литератору в сожительстве с женщиною образованною и что он может встретить с простою женщиною малого развития. Предложенные вопросы, может быть, и несерьезны, но они не лишены своего интереса. К сожалению, возбудивший их автор почему-то, однако, не развил своих положений и не доказал их основательности. В дру-

гом бойком органе ему возражали и смешно и ехидно, но тоже не сказали ничего выясняющего дело. Верно, это так и должно быть, «чтобы всегда оставалось сказать о женщинах нечто новое» (Boufflers). Я тоже не имею ни малейшей претензии свести любопытный спор к какому-нибудь решительному заключению, но я хочу дать кстати подходящие иллюстрации, которые беру из моих воспоминаний о литературской жизни.

II

Незадолго перед переходом «Отечественных записок» из рук Дудышкина и Краевского под редакцию Некрасова и Салтыкова в этом журнале работал один писатель, которого в нынешнем случае неудобно было бы называть по имени. В данном случае его имя и не важно, так как интерес представляет само положение лица и характер двух его подруг, из которых одна была «дама», а другая «фефёла». Дама была его «законная половина», а фефёла – его «беззаконница». Обе они имели для упоминаемого писателя очень серьезное значение во время его жизни и различно исполнили свое призвание к его потомству.

Я зазнал этого человека в 1865 году, когда Дудышкин напечатал в «Отечественных записках» одну его статью, которая в публике многим понравилась и привлекла автору благорасположение обоих редакторов, то есть Ст. Сем. Дудышкина и А. А. Краевского. Писателю назначили плату по восемьдесят рублей «за статью», и это его повело к худу: он был совершенно счастлив и до того увлекся литературным успехом, что стал пренебрегать своими служебными обязанностями. Служба у него по его специальности была довольно сносная, и хотя она оплачивалась не щедро,

а все-таки она обеспечивала его вернее, чем литература. Но с этих пор он службою не дорожил, а занятиям литературою предавался с неудержимою страстью. К деньгам вообще он был не только не жаден, но даже почти равнодушен и в употреблении их безрасчетлив. К тому же он был очень нетребователен и спартански прост в своих привычках. Как ни есть и где ни жить – это для него было все равно, лишь бы только у него не была отнята возможность высказывать то, о чем он думал и что признавал за нужное и полезное для общества. Каков бы он ни был по его значению в литературе, но по *характеру* это был настоящий литератор, которому, кроме того, что делается в литературе, все трын-трава. И его нельзя было ни отманить, ни отбить от литературы, хотя бы ему при ней пришлось умереть с голода. Такие люди тогда между писателями встречались не в редкость: некоторые из них так верили в высокое значение своего литературного призвания, что не считали за важное потерпеть ради идеи не только лишения, но даже и муки... Вдобавок к этому настроению писателя его посетило еще другое искушение: к нему начали писать сочувственные письма разные незнакомки, и женские письма расшевелили в нем влюбчивость и фантазии. Словом, успех совсем вскружил ему голову, а дамские письма даже начали портить его характер и мешали

ему исполнять все его обязанности – служебные, литературные и супружеские, так как писатель, на его несчастье, тогда уже был женат, и супруга у него была с характером. Женился он, кажется, еще студентом, и во всяком случае гораздо ранее, чем прославился в писательстве, а поставил он себя дома так неудачно, что жена считала себя очень умною, а его называла «глупым» и никак не хотела верить тому, что он может «сочинить» что-нибудь стоящее внимания. Это его сердило и оскорбляло, и он старался изменить в жене такой неблагоприятный для него взгляд, но достичь этого не мог. Более всего жене писателя казалось невероятным, что он может что-нибудь понимать о супружеских обязанностях, а внимание посторонних дам к ее мужу ее раздражало и довело ее до такой ярости, что она от оскорблений на словах перешла к обидным действиям и явилась к А. А. Краевскому возвестить ему свою победу и выразить журналу порицание за то, что через его посредство у ее мужа «начались шашни с дамами».

А. А. Краевский выслушал ее, помычал и направил ее к Дудышкину, но сам встревожился, пробурчал несколько раз «бог с ней» и распорядился, чтоб ее к нему вперед не пускали.



Писатель был человек лет тридцати или тридцати двух, белокурый, маленького роста, очень слабый и нервный, с небольшими голубыми глазками и вихрястою шевелюрой. Нрав он имел добрый, но мелочный, раздражительный и, что называется, «петушливый». Бракосочетался он «по состраданию». Тогда такие благородные вещи тоже были в моде, и на них очень многие попались. Приятель мой был из числа этих счастливцев и очень горько расплачивался за свое великодушие. Супруга его имела над ним самые разносторонние преимущества: по ее словам, она была старше его только на пять лет, но по виду надо было думать, что разница была гораздо серьезнее, а притом она была крепкая, сильная, очень предприимчивая и обладала счастливейшим женским талантом – не бояться никаких скандалов. Обладая такими божьими свойствами, дама притом была также чрезвычайно неутомима как в натиске, так и в преследовании. Муж с женой едва ли не с первых же дней брака не поладили, и с тех пор они постоянно жили очень дурно, а по переезде их в Петербург жена постаралась устроить так, что это скоро сделалось известно всем в редакции. Прием, для этого употреблявшийся,

был простой: дама, с виду очень образованная, сама приходила в редакцию или в контору и жаловалась на мужа всем: Дудышкину, Краевскому и т. д. до конторщика Боголюбова, который выдавал деньги. Дама делала это не только без малейшей застенчивости, но и без всякой нужды, просто как бы по влечению души. Впрочем, может быть, она имела какую-нибудь цель понизить акции своего мужа, представляя его смешным и пошлым. Скромность она не уважала и без всякого стыда рассказывала самые ужасные вещи о том, как грубо и бесцеремонно она обращается с мужем.

– Он хочет меня остановить жалкими словами, – говорила она. – Mais c'est drôle!¹ Как же он может на это надеяться, когда я ему уже давно сказала, что я никакого скандала не боюсь? Je sais ce que j'ai faire!²

Она, однако же, скоро всем надоела, и Дудышкин перестал ее принимать, так же как и Краевский, но в контору она еще являлась и срамила мужа как только находила возможным. Ей, конечно, не верили, но, однако, все-таки она повредила мужу уж одним тем, что сделала его смешным. Вдобавок она вооружила против него Краевского, которого она подстерегла раз на его пути от дома к Гимнастическому павильону и засыпала его претензиями, а когда он стал от нее

¹ Но это забавно! (франц.).

² Я знаю, что мне делать! (франц.).

убегать, повторяя: «Ей-богу, ей-богу, я болен и ничего не могу!» – она, не получив от него желаемого сочувствия, сказала ему вслух: «*Quel vieux idiot!*»³ – и бросилась в открытые двери Семионовской церкви, закричав с крыльца, что «проклянет его перед образом». Краевский, впрочем, на нее не сердился и не обробел от проклятия, а говорил вечером: «Бабы! я их знаю!» И он, кажется, действительно «знал баб», и потому в редакции дело писателя облаживалось хорошо, но не так это выходило в очах служебного начальства, к которому предприимчивая супруга тоже являлась и говорила там, что ее «*rique-assiette*»⁴ не верит в бога и непочтительно говорит о таких и таких особах, чего-де она, как институтка, не может сносить и «доведеет до сведения», потому что у нее есть дитя, которое надо воспитывать в добрых правилах.

– Да! *Je ne suis pas seule!*⁵

³ Старый идиот! (*франц.*).

⁴ Блюдолиз, прихлебатель (*франц.*).

⁵ Я не одна! (*франц.*).

IV

Чего хотела достичь эта супруга, того она, кажется, и сама не знала. Определенно она стремилась только «получать его жалованье». Это она заимствовала где-то у жен фабричных рабочих, у которых мужья пропивают заработки. Хороший пример понравился ей: тогда любили «народное». Правда, ее муж не пропивал заработка, ну, а все-таки...

– Je ne suis pas seule! Сделайте милость!

Краевский приказал:

– Отдайте, отдайте!

Он знал женщин.

Муж как услышал об этих изветах, так и заболел; больной он остался совершенно беспомощен при своей беспощадной тиранке. Мы жили тогда неподалеку друг от друга у Таврического сада, где я живу тридцать лет, и я два раза навестил больного и видел его в ужасной обстановке: раз я застал его в комнате, напитанной самым невыносимым зловонием, а в другой раз в комнате было открыто окно, и на больного страшно дуло.

Я спросил его, для чего открыто это окно в такой холодный день?

А он покачал головою и отвечал мне:

– Ах, знаете, я боюсь отгадать, что для того, чтоб я скорее умер!

Я встал и закрыл окно, а как это произвело соответственный звук, который был слышен за стеною, то оттуда из другой комнаты послышался гадкий сдержанный смех. Затем я ушел, а больной вскоре поправился и, как ни в чем не бывало, пришел на редакционный вечер, который мне остался памятным по дебатированным тогда роковым вопросам о русском искусстве. Это было вскоре после достопамятной лекции, прочитанной в бывшем художественном клубе г-жою Якоби, которая тогда только что возвратилась в отечество и много сообщала о гарибальдийском движении, в котором она принимала живое участие и пользовалась приятною итальянского героя. Теперь, когда после этого прошло около тридцати пяти лет, очень трудно передать то оживление и симпатии, которые вызвала эта лекция, произнесенная женщиной, о которой тогда говорили очень много интересного. Художники не только аплодировали г-же Якоби, как даме, но и выражали настоящее удовольствие по поводу ее суждений о художественных вопросах. Тогда помощи для русского искусства искали повсюду и говорили то о профессоре Якоби, то о Микешине, которые тогда были в моде и наверняка могли «спасти русское искусство», а зауряд вспоминали и Петра Соколова, и

Зичи, и Сверчкова, и Клевера. И, несмотря на то, что все эти уважаемые лица были напоены одним духом художников Александра и Дмитрия, о которых упоминается в книге «Деяний апостольских», тогда, однако, находились удивительные люди, которые умели что-то различать в них. Но нашлись, впрочем, и такие, которым лекция г-жи Якоби не понравилась, – не нравилась она и нашему писателю, которому было противно видеть вызванное ею возбуждение, и он захотел подвергнуть и лекцию и восторг слушателей критике. Статья о лекции в Троицком переулке должна была явиться в той книжке, которая уже набиралась, но она не явилась вовсе, и автор ее едва уцелел. В семействе критика произошли ужасные события.

V

Через два или три дня после лекции, поздно вечером, когда в Таврическом саду свистали соловьи и у частокола, ограждавшего сад, стояли в молчании и слушали певцов несколько любителей соловьиного пения, я увидел здесь воспоминаемого литератора. Он был чрезвычайно уныл, и вдобавок все его изнеможенное болезнью лицо было исцарапано и испачкано, а платье его было в сору и в пуху; очевидно, он был в большой переделке.

Я его тогда все-таки еще мало знал и заподозрил, не выпивши ли он, но это было напрасно. Жалостливый вид, в котором он слушал соловьев у частокола, был результатом того, что он в это время особенно сильно пострадал за свое пристрастие к литературным занятиям, и притом все в этот раз им написанное *было уничтожено*, а именно, статья о лекции в Троицком переулке была изорвана супругою писателя в клочки, а сам он оцарапан, облит чернилами, отлучен от домашнего очага и изгнан из дома с отображением от него часов и денег. Затем жена пригрозила ему, что она поедет к институтскому начальству и расскажет, какие у ее мужа понятия о самых священных предметах... А уж затем, разумеется, «ему покажут!».

Я пригласил его к себе переночевать, и он это принял, так как ему решительно нельзя было иначе устроиться. Он прозяб и был голоден и потому с аппетитом кушал чай с булками и при этом рассказал мне длинную историю своих многосторонних страданий от жены, и в этот раз он сообщил мне и некоторые подробности о ее происхождении: она была дворянка из южного края и окончила курс в одном из институтов, потом поссорилась с матерью и жила в Швейцарии и чему-то училась; после была гувернанткой, потом переводчицею и актрисою, – нигде не прижилась. На несчастье моего товарища, она показалась ему очень несчастною, и он на ней женился, а она потом в минуту нежности призналась ему, что «хотела в его лице отметить всем мужчинам за угнетение женщин». А в доказательство того, что это было серьезно, она немедленно же начала исполнять свою программу с такою последовательностью, что у бедняка отшибло память на очень важные случаи их семейной жизни. Она его так огорошила, что он все позабыл и пренаивно говорил о своем ребенке:

– Знаете, откуда он у нас взялся, – я этого, право, даже не могу себе представить.

Но возвратимся к порядку событий.

Пострадавший в эту пору был очень расстроен и не хотел возвращаться к своей мучительнице, а соби-

рался жить от нее особо. Я по его просьбе ходил на следующий день к его жене для переговоров, не согласится ли она облегчить ему его домашнее положение или не признает ли за лучшее отпустить его на свободу за посильное вознаграждение? В особе этой я увидел женщину, очень некрасивую и пожилую, но смелую и бойкую и, без сомнения, способную на большие нахальства. В приемах у нее оставался какой-то след «гостинности», но перемешанный с самою резкою вульгарностью, или, лучше сказать, хамством. Художник мог бы взять ее за модель для изображения русской ассамблейной боярыни, которую культивирует император Петр Первый и с образовательною целью напоил вполпьяна и пустил срамословить. Кое-как, хоть клочками, я припоминаю нашу беседу.

VI

Дама встретила меня очень веселая, без малейшей застенчивости, и сама заговорила со мной, пересыпая русские слова французскими:

– Пожалуйста, пожалуйста! Dieu vous bénisse:⁶ я очень рада примирителю. Вы ведь пришли нас мирить? Садитесь, но помирить со мною кого бы то ни было очень трудно: я не из добрых, и особенно – извините! – я не люблю мужчин.

И, заявив о своей ненависти к мужчинам, она сейчас же упомянула и о том, что «перед нею за всех за них отвечает ее муж». Она весело расхохоталась и затем все время потешалась над своим мужем, рассказывая о нем дрянной и неприличный вздор, после чего тотчас же начинала злословить дам, писавших ему литературные письма, и называла их именами своего изобретения, как-то: «маркиза Дешкуранс», «баронесса Шлюхман» и «леди Кис-меквик» да две русские помещицы «Обнимайкина и Целовалкина», которых она «всех презирала», а сводила она все это к тому, что «все они дуры и муж ее смешон и решительно ни

⁶ Бог вас благословит! (франц.).

на что не годен, особенно *vis-a-vis d'une femme*». ⁷ Для нее это, впрочем, *tant mieux*, ⁸ потому что у нее другая натура, и она находит, что женщина должна быть выше природы, потому что природа – свинья.

– Кто любит свинство, тот и может признавать над собою власть природы, но для меня все это противно. Вы понимаете?

Я не понимал, и она поясняла:

– Все эти взгляды, и мины, и вздохи, и положения... словом, все это и прочее, что воспевают поэты – это отврат, все это *c'est archibête!* ⁹

Поэтому я надеялся, что она довольно легко согласится разъехаться с своим супругом, но она, однако, требовала, чтоб ей за это дать как можно больше денег.

– Потому что у меня есть дитя. Вы понимаете? *Je ne suis pas seule!*

Мы поторговались, и она согласилась «получить», и *после того*, не иначе, она поедет на юг – на милый, теплый юг с этого противного, холодного севера.

– *Le diable!* ¹⁰

Казалось, все было улажено, и дама даже сказала

⁷ Наедине с женщиной (*франц.*).

⁸ Тем лучше (*франц.*).

⁹ Это сверхглупо (*франц.*).

¹⁰ Черт побери! (*франц.*).

мне: «Le bon Dieu vous bénisse», и сейчас же переменилась: окончив деловой разговор, она призвала своего двухлетнего сына, много раз его повернула передо мною и начала его снаряжать на прогулку.

Тут я мог его разглядеть: это был болезненный, рахитический мальчик, с большими, почти бесцветными глазами, в которых выражался постоянный испуг, возбуждавший к нему сожаление. Его держала на руках свежая, белолиценькая и румяная девушка лет восемнадцати, с очень большими, как будто даже непропорционально большими серыми глазами и пристальным и добрым, но очень твердым взглядом (я описываю эту молодую «фефёлу» потому, что она не пройдет перед нами мельком, а у нее есть роль в моем воспоминании). Девушка, вероятно, недавно пришла из села и была очень застенчива, а дама находила удовольствие смущать ее стыдливость. Она подсмеивалась над ее свежестью и при мне нашла случай назвать ее несколько раз то «орлеанскою девственницей», то «деревенскою фефёлой», причем дама так разрезвилась, что повернула девушку перед собою и стала ее рекомендовать тоном французского паноращика:

– Voilà Jeanne d'Arc, surnommée la Pucelle d'Orleans, héroïne. Extrêmement pieuse, il lui semblait entendre des

voix, qui lui ordonnaient d'aller sauver... son maître.¹¹ – Дама рассмеялась и продолжала: – Без шуток, без шуток, эта девица очень одухотворена, и она видит вещие сны... да, да, да! И она часто плачет и даже иногда рыдает во сне... о моем супруге, а я ее бужу и посылаю на ветер.... c'est bien comique!..¹² Потом я высылаю туда же этого дурака, которому дан дивный дар трогать и располагать к себе сердца дур, из коих вот первая... La voilà, фефёла и Pucelle!¹³

Название, выраженное по-французски, очевидно очень обижало девушку, и она, зардевшись, как вишня на солнце, сказала:

– Фефёла я – это точно, я простая девушка и никаких примеров не получила, а что другое вы меня называете, то это я совсем не понимаю.

Дама расхохоталась и передразнила:

– «Примеров не получи-ла», так иди с богом.

И, перекрестив несколько раз своего ребенка, сидевшего на левой руке девушки, дама подала ей в правую руку дождевой зонтик и пропела:

¹¹ Вот Жанна Д арк, прозванная Орлеанской Девственницей, героиня. Ей, в высшей степени набожной, казалось, что она слышит голоса, призывающие ей идти спасать... своего господина (*франц.*).

¹² Это очень смешно! (*франц.*).

¹³ Вот она, фефёла и Девственница! (*франц.*).

Voici qu'a tourne la guerre,
Quand Pucelle porle barnière!¹⁴

Затем она взяла девушку за плечи, повернула и, воскликнув: «Peste!»¹⁵ – выставила ее за дверь.

Девушка эта на вид была ни хороша, ни дурна и не казалась ни умною, ни глупою, а какова она была на самом деле, это увидим ниже.

Звали ее Прашею.

¹⁴ Вот как оборачивается война, когда знамя несет Девственница!
(франц.).

¹⁵ Черт возьми! (франц.).

VII

Супруги «разъехались». Совершилось это почти так, как часто делается, то есть «не без неприятностей», – ни смиренность мужа, ни французские ритуры-нели жены не устранили ссоры, и при самом последнем «adieu» дело не обошлось без участия «народных представителей» в лице двух дворников, которые при этом обнаружили непосредственное народное мирозерцание. «Неприятность» поднялась было из-за маленькой книжной этажерки, которую тянули в две противоположные стороны до тех пор, пока она с треском распалась на свои составные части, и тогда те части, которые остались в руках дамы, полетели в лицо мужу.

Один из народных представителей был против этого и говорил, что «не надо шкандалить, а надо разойтись чинно и благородно», но другой, напротив, находил, что это так и следует, и сказал: «Если не ссориться, так тогда зачем и расходиться?» Мне это показалось оригинально, и я после побеседовал с этим мыслителем, по выводам которого «в разврат идти» (то есть разлучаться) можно только «до того поругамшись, когда уже терпеть нельзя. Тогда и разводись. И тогда – поскандалить очень приятно, потому что впе-

ред лучше и знаясь не захочешь».

Это рассуждение осталось у меня в памяти, и я не раз в жизни видел, что в нем есть основательность.

Но, как бы то ни было, супруги разлучились таким образом, что взволнованный и огорченный муж прошипел на пороге:

– Желая вам всего лучшего!

А жена ему ответила:

– *Diable t'emporte!*¹⁶ – и заперла за ним дверь.

Ребенок остался при матери, и с ними же осталась и Праша. С неделю ее всякий день можно было встречать в Таврическом саду, где она возила в колясочке писательское дитя. Она хорошо берегла ребенка и очень сожалительно говорила об изгнанном хозяине.

– Очень простой и смирной, добрый барин! – говорила она и сама краснела, задумывалась и однажды даже заплакала.

– Вот это хорошо, что вы такая добрая девушка, – сказал я. – Хорошо, что вы жалеете человека. Но, впрочем, надо жалеть и барыню. У нее какой-то несчастный характер.

– Ах, это точно, что жалеть надо всякого, но она смелищая, а он ужасно какой смирной. Ему и на воле тоже мало будет хорошего.

И вскоре после этого такой пассаж, что с детскою

¹⁶ Убирайся к черту! (франц.).

колясочкой в Таврическом саду появилась сама мать с зонтиком и с книгой в руках, а Праши уже не было.

Что у них случилось?

VIII

Помню серый, холодноватый день. Мать сидит и держит в руке волюмчик Таухницского издания. Но чтение, по-видимому, плохо ее занимает; она роняет книгу и опять ее поднимает, кладет ее на колени и хочет резать листы головною шпилькой, но листы рвутся, и книга падает. Она хочет ее поймать и попадает себе в лицо зонтиком, который держит в руке, вместо того чтобы положить его возле себя и сделать, что нужно, обеими руками. Ребенку наскучило смотреть на это неуклюжество, и он стал плакать. Тогда дама бросила книгу и стала поправлять дитя, но у нее ничего не выходило. Она нагнулась пребезобразно над коляской ребенка и оцарапала ему булавкой лицо; он заревел. Она ему погрозила, потом выхватила его и перевернула, опустив его вниз головою, и, рассердись на себя, прибила его рукой справа и слева. Ребенок вытянулся и зашелся в рыданиях. Две близко сидевшие дамы в самых мягких выражениях заметили матери, что ребенок испугался и что от этого может случиться припадок. Она отвечала им, что это «не их дело», что она «сама мать», и, быстро встав с места, она повезла колясочку к выходу из сада, но на виду у всех попала в колесо зонтиком и за один прием пере-

ломила в зонтике ручку и опрокинула коляску. Это ее так взбесило, что она бросила и коляску и ребенка и со всех ног упала ниц в траву куртины и истерически зарыдала.

Дитя, видя безумие матери, стихло.

Несколько дам кинулись к ней, чтобы ей помочь, но она на них навела ужас своими судорогами, и дамы отступились.

Пришли садовый сторож и солдат и стали ее поднимать, но она вскрикнула: «Peste!» – и ударила их обоих по рукам обломком зонтика, а потом встала сама, посадила дитя и повезла сбоченившуюся коляску, не обращая ни малейшего внимания на ребенка, который теперь, однако, молчал, как будто он понял, что его дело не шутка.

Произошло вот что: Праша узнала, что ее «смирный» и «простой» барин заболел и валяется без присмотра и без помощи, так что и «воды подать некому». Внутренний жар и истома недуга ей были знакомы, и она знала, что тут нужна помощь. Больше ей сообщать было нечего, и она сейчас же бросила ребенка матери на руки и ушла служить больному. Как простолюдинка, она начала с того, что она его «убрала», то есть освежила его постель, вытерла самого его водой с уксусом, обласкала утешительными словами и сварила ему бульон, а потом, когда он «пошел на по-

правку», он ощутил близость ее женственного присутствия и отблагодарил ее своим мужским вниманием. Это ведь так обыкновенно... Но, может быть, это ему надо поставить в вину, особенно если он не придавал этому серьезного значения; но *она* ... она «вся ему предалась» и ни о чем более вовсе и не рассуждала.

– Я, – рассказывала она, – только и хотела, чтоб он знал, что он теперь не один, а у него есть *раба*.

Такое сердце, и такие понятия.

Но не пренебрегите пока этим рабским сердцем.

IX

Из своих новых отношений к «господину» Праша не делала никакого секрета, но и не бравировала ими, что со стороны «фефёлы» – редкость. Все в доме у них шло так тихо и благопристойно, как будто связи и не существует. Приятельскому кружку, однако, скоро стало известно, что между ними установилась любовь. Узнала это и его жена, и оттого-то она и каталась по траве, оттого у нее все падало из рук и ломалось. И как она его ни порицала, «особенно *vis-a-vis d'une femme*», но измены она ни мужу, ни Праше не подарила и вызывала их обоих к мировому, где был какой-то инцидент с истерикой, и потом все успокоилось. Супруга взяла еще, что могла, с оброчного мужа и сникла с наших глаз, а у Прашн к году родился ребенок, которого она сама кормила, а при этом, конечно, все мыла, шила и варила. Жили они на очень маленькие средства, и Праша тряслась за всякий грош, чтобы было из чего жить и «*посылать барыне*». Скучать ей было некогда, а если ей случалось оставаться одной и поджидать поздно ночью своего господина, то она чувствовала «жуть» и тоже нашла чем себе помочь в этом горе: она брала из пачки писательских фотографий карточку Александра Дюма с его страшно кучеря-

вою шевелюрой и начинала ее рассматривать: «тогда ей тотчас же становилось смешно», и жуткость проходила.

С. переходом «Отечественных записок» к Некрасову писатель остался без работы, и у них было худо; но потом он скоро был приглашен во «Всемирный труд» к доктору Хану, где работы было много, и дела поправились. Праша близко в это вникала и отлично поняла, что нужно человеку при «спешке». Она ему все приспособила для занятий в их маленькой квартирке, состоявшей всего из двух крошечных комнаток в надворном деревянном флигеле.

Она сделала все, что позволяла ей возможность, а он был так неизбалован и так нетребователен, что не желал большего.

– Чего же-с мне еще надобно? – говорил он, чрезвычайно довольный своим положением. – Я теперь могу работать спокойно и дни и ночи: мне никто не мешает, и я докажу, что значит эстетика!

У него «был задуман ряд статей», но они написаны не были. Не прошло полугода после этого, как Гр. П. Данилевский навестил его и нашел «заработавшимся до бесчувствия». Данилевский уговорил его немножко прогуляться – провез его в коляске по островам, угостил на воздухе ужином и отвез домой, сдав на руки ожидавшей его Праше. Данилевский был поражен

худобою и усталым видом писателя и тем, что он как будто не замечал ничего окружающего и мог говорить только о ряде задуманных им статей. Праше сказали, чтобы она его непременно выпроваживала гулять, и она об этом очень заботилась: звала его «в сад, смотреть зверушек», которых ей будто очень хочется видеть, но он не слушался и даже сердился. Зимой, продолжая такой же «безотходитсльный» образ жизни, он ослабел, закашлял и расхворался, а Великим постом умер. Праша испытала неожиданный ужас: она осталась одна, с ребенком и без всяких средств. «Законная вдова» усопшего сближала случай смерти мужа с тем, что Данилевский перед этим угостил его ужином, и добивалась узнать, как он возвратился домой: «sur les deux pattes ou sur toutes les quatre»,¹⁷ – и в то же время она вступила во все свои законные права и получила все, что могло быть усвоено ей и ее законному ребенку. А «беззаконнице» Праше и ее ребенку не досталось *ничего*. Власть, обеспечивавшая имущество покойного, то есть его дрянную мебелишку и черняки недописанных статей, опечатала помещение, где жил литератор, а Прашу, как прислугу, «вывели», и никому до нее не было никакого дела. О бедной Праше решительно никто не подумал, но она и в изгнании не оробела, а провожала гроб и показала у могилы с

¹⁷ На двух ногах или на всех четырех (франц.).

твердым видом.

Так, пусть мертвые хоронят своих мертвецов; мать, имеющая дитя, *должна жить* ... и она должна хорошо жить, *честно!*

Посмотрим, как она это выполнит?

Х

На другой же день после похорон литератора Праша пришла ко мне с ребенком на руках и сказала:

– Не обижайтесь на меня, что я с ребенком пришла. Не на кого его оставить. Посоветуйте: как мне быть?

Она меня сконфузила: я видел, что мы не сделали после смерти товарища самого важного дела: мы не подумали об этой женщине и о ее ребенке, и к этой оплошности я прибавил другую, еще худшую и даже достойную строгого осуждения: я заговорил о том, чтоб отдать ребенка, а Праша, которая стояла передо мною, от этого так страшно побледнела, что я упробил ее сесть, и тогда она сейчас же заговорила:

– Отдать дитя навсегда... ни за что!.. Слов нет, я сама виновата, – ну, все же я могу о нем и обдумать. В этом доме, где я вчера угол взяла и мы там ночевали, там бабы живут и ходят шить мешки. И я могу шить мешки, но его туда с собой нельзя брать.

Она прижала к себе ребенка и залилась слезами.

У меня в тогдашнее время не было никаких запасов, которыми я мог бы поделиться, и все, что я мог дать бедной Праше, это было пять рублей. Я просил ее взять это пособие и идти пожить на квартире два-три дня, пока я испробую, нет ли возможности устро-

ить для нее с ребенком какую-нибудь новую складчину. Она не ломаясь взяла деньги, шепотом сказала:

– Благодарю вас: постарайтесь! – и ушла.

Но стараться тогда было мудрено, и многого в нашем положении сделать было невозможно. Тогда еще не было таких хороших литературных заработков, какими нынче похваляются нынешние молодые писатели, между которыми есть уже и капиталисты и даже сибариты. Мы тогда работали очень много и очень старательно, но получали мы мало, а часто и во все ничего не получали. Сами бедняки, мы нередко сотрудничали «из чести» у очень необеспеченных издателей, которым, однако, мы считали за обязанность помогать «по сочувствию к хорошему направлению». Некоторые из этих благородных предпринимателей скоро сообразили, что из наивного настроения искренних писателей можно извлечь выгоды, и они этим воспользовались (кто хочет лучше с этим познакомиться, пусть прочтет переписку Д. И. Писарева с Г. Е. Благодетелевым).

Гончаров называл это время «грубым периодом в литературе». Оно и действительно было грубовато и очень несправедливо, но тогда в литературной среде встречались характеры до такой степени цельные и строго относившиеся к призванию писателя, что теперь даже не верится, вправду ли это было, и если

было, то отчего же это так скоро прошло? А это было! Люди бедствовали при своих ничтожнейших заработках, которых притом еще часто нельзя было получить из тощих касс редакций, и частенько эти люди друг с другом ссорились, но выгод от перехода к «чужому направлению» они не искали. Изменить своему знамени и перейти под чужое тогда почиталось за дело вполне бесчестное, и то, что теперь в этом роде делается беспрестанно, тогда происходило чрезвычайно редко.

Благородная строгость стала ослабевать после того, как «софисты XIX века» замолели о том, что все на свете можно защищать без стеснения, и сами стали показывать пример слишком «широкой жизни». Литераторы не захотели отстать и стали манкировать литературною независимостью.

(Тогда же начали пренебрегать и внешним времяпровождением, и в литературных домах стали раскрывать ломберные столы и начали играть в карты, чего ранее почти все стыдились.)

Но возвратимся к осиротелой Праше.

XI

С огромным усилием собрал я для этих сирот двести рублей. После смерти А. И. Пальма я собрал и передал в литературный фонд с лишком две тысячи рублей, но это было легче сделать, чем в прежнее время собрать две сотни. Зато дамы даром дали совет поместить ребенка «на молоко» к почтамтским сторожам, а матери идти служить в прачки или в горничные.

Дамы обещали также похлопотать о ней, и так как им хотелось видеть Прашу, то они просили прислать ее на смотр к ним.

Я позвал Прашу и сказал ей, что в моих руках есть для ее ребенка двести рублей и что ей остается теперь поместить дитя в почтамт, а самой идти на место, о котором для нее постараются дамы. Я это объявил ей с апломбом, потому что мне представлялось, будто мы с дамами превосходно обдумали ее положение. Праша выслушала меня со вниманием и не противоречила, а немедленно же пошла в почтамт. Но только мне показалось, что она «собирала лоб» и как будто была чем-то недовольна, когда я ей изъяснял свои соображения.

Вечером в этот же день она возвратилась и спокой-

но объявила, что в почтамте действительно детей берут по пяти рублей в месяц и что, может быть, между теми, которые берут, есть люди и очень добрые.

– Кого же вы выбрали?

– Пока никого... Есть там двое, – отвечала она, глядя вниз и покапывая по полу кончиком зонтика, и вдруг заплакала.

Я ее укорил за то, что она отнимает у себя бод-рость.

– Именно, – сказала она, – но только как я этих примеров еще не видала, то... я дура, фефёла... – и она хотела улыбнуться, но вместо того еще горче заплакала.

– Ну, и довольно!.. Больше не буду!

– И прекрасно!

– Да, не буду!

– Вот же вам десять рублей за первые два месяца, а остальные ваши деньги я положу в сохранную казну, и вы будете их брать и платить за ребенка.

Тогда она взяла десять рублей и завязала их в уголок платка, а мне ответила:

– Очень вами благодарна, и слов нет, что так нас устроили, но позвольте притом вам сказать, что из этого очень хорошего ничего быть не может.

Мне показалось, что у нее переменялся тон и голос и даже самая манера говорить стала иная: девочки

Праши уже не было, а была молодая мать, которая увидела себя в самых стесненных обстоятельствах и вся насторожилась, чтобы найти выход.

– Не обижайтесь, что я скажу, – продолжала она, – я ведь никаких примеров воспитания не получила, но я не без понятий. Позвольте сказать вам: два дня назад я думала, что я с дитем совсем пропала, и очень хотела кинуться с ним за один раз в реку, а теперь, когда добрые люди нам помогли, я уже как оса ожила и начинаю думать, как неблагодарная... Дамы, конечно, очень добры, но они тоже все примеры не постигают.

– Пожалуйста, объясните, Праша, что вы хотите?

– Вот, я за ребенка буду платить пять рублей в месяц. Это, скажем, шестьдесят рублей в год?

– Да, шестьдесят в год.

– В два года сто двадцать рублей, в четыре – двести сорок, ну вот и все... А ему будет всего еще пятый год...

– Да, ваш расчет верен.

– И тогда я могу его взять к себе?

– Да, можете взять.

– А кто же тогда меня с ним вместе возьмет?

Вопрос этот мне показался несерьезным, и я дал ей почувствовать, что я понимаю дело: я сказал, что с грудным ребенком ей трудно было бы устроиться, а когда он будет по пятому году, тогда это нетрудно: с

такими детьми берут.

Да, берут, – отвечала Праша, – слов нет, берут, только за самую дешевую цену. Вот и выйдет такой пример, что через пять лет у меня не будет ни копейки денег и будет ребенок на руках, с которым мне нельзя будет ийти место с ценою. И я его ни во что настоящее не произведу.

– Так что же, какой пример надо сделать, по-вашему:

– Это пример вовсе не глупый. Конечно, я еще молодая и уже такой вредный поступок сделала... Но я еще раньше, чем сюда в город приехала, я с дяденькой на пароходе по Волге плавала... Дяденька содержали буфет, а я у них салфетки стирала... И я это очень хорошо умею и вам верно говорю, что я отличная прачка. Против меня даже не всякая потрафит отмыть красное вино или вредный соус, а я умею, и если бы деньги, которые вы собрали, вы бы мне бы доверили, – вот вы бы тогда увидели, что я сделаю.

– А что бы вы сделали?

– А вот у меня здесь другой мой дяденька в трактире вторым поваром служит, и у них салфеточная часть огромная. И я у него уже была и поговорила, и он с буфетчиком поговорил и говорят: «Старайся, отдадим тебе».

– Что же надо постараться?

– Квартиренку надо из мусорных и посуду... Я зашла уже и посмотрела, квартира есть в подвальном этаже, и с большою комнатой. Самое чудесное для прачечной, а в другой, маленькой, можно жить с девушкой и с ребенком. Я бы взяла двух девчонок, да сама третья стала, и все бы мы пропитались, и ребенку путь показала бы.

– Не ошибитесь-ка вы, Праша!

– Нет-с. Я ведь каких примеров не знаю, о тех не говорю, а это я верно знаю, да еще я ведь секрет умею, как красное вино можно отмыть без фимии... И я свое дитя тогда никому бы за глаза не отдала, а сама бы его возрастила и произвела к делу. Отчего же не так? Но, впрочем, я это так говорю, а вам как угодно.

И она показалась мне такую искреннюю и честную, такую толковую, серьезную и надежную, что я сделал так, как она хотела, то есть я отдал ей все деньги и сказал ей с шуткою:

– Нате, Праша, и делайте свои хорошие примеры!

XII

Через месяц Праша пришла звать меня к себе на новоселье. Я пошел с другим моим литературным товарищем, теперь уже умершим (из всей нашей тогдашней компании теперь в живых остается только трое: Тимирязев, Всеv. Крестовский и я). Праша устроилась хорошо: у нее была одна действительно очень большая комната с плитяным полом, а за ней еще маленькая комната, в которой у нее стояла ее кровать и деревянная колыбелька писательского сына.

В большой комнате была прачечная с новым инвентарем, приобретенным и расставленным с несомненным знанием дела.

Тут, как следует, было сыро и пахло мокрою еловою клёпкой и мылом. В прачечной, уж разумеется, как в прачечной, но в жилой комнатке было и сухо и уютно. Мы пили чай с тремя мастерицами и Прашиным дяденькой, вторым палкинским поваром, который привел с собою еще другого второго повара из Балабинского трактира, памятного тем, что там в воспоминаемое время был особенный «литературный столик», за которым ежедневно садились пить чай Н. И. Костомаров, книгопродавец Кожанчиков и

другие солидные и деловитые литературные люди, при которых мы, тогдашняя молодежь, держали себя почтительно и скромно.

Повара пришли к Праше раньше нас и выпили всё им предложенное расчетливою хозяйкой, надымили скверными папиросками и ушли. Праша была ими очень недовольна, потому что балабинский повар, узнав, что Праша завела свое хозяйство, нашел это достойным своего внимания и пришел с дяденькой не просто, а с тем, чтобы Прашу посмотреть и потом ее по-сватать и на ней жениться. Это Прашу обидело, и она сразу отказалась от жениха и очень обрадовалась, когда повара ушли, оставив нас с одними фефёлами. А из этих фефёл одна была в своем роде прелюбопытная. Это была женщина лет тридцати двух, которая, что называется, *всем взяла*: ростом, дородством и красотой, а также и простотой, которою одною только и можно было объяснить полунищенское положение этой женщины, обладающей большою и яркою красотой. Сообразно великолепной наружности, у нее было и великолепное имя: звали ее Зинаида Павловна, а по фамилии она была Потемкина. Знатностью породы она, впрочем, не отличалась – Зинаида Павловна была мещанка из подгородней слободы того самого города, откуда была родом и Праша, которой Зинаида Павловна приходилась теткой и была старше ее лет

на двенадцать, так что в это время, когда Праше было лет двадцать, Зинаиде Павловне уже перевалило за тридцать. «Природы» они были различной: Праша была кругленькая, бочоночком и посмешливая, а Зинаида Павловна – медлительная, величественная и авантажная; фигура у нее была чрезвычайно стройная и мощная, а лицо тонкой и яркой, но замечательно скромной красоты, напоминающей несколько облик Поппеи-Сабины. По уму и душевным своим свойствам обе женщины тоже совсем были не похожи одна на другую: Праша еще не созрела умом, но все замечала и во все вдумывалась, тогда как Зинаида Павловна ни о чем не думала. На красивом лице всегда отражалось самое полное и самое невинное детское простодушие, граничащее даже с умственной бедностью. При этом Праша была скромница, а Зинаида Павловна – болтушка, которая всегда неудержимо стремилась говорить как можно более и в молчанье сучала. Словоохотливость ее была так велика, что она не ограничивалась произнесением одного только настоящего имени данного лица, а еще сама присочиняла всякому еще несколько имен. Так, например, она звала: «Праша – Пахита-Пашенция! Пашок – мой дружок!» В другой раз она еще варьировала и говорила: «Прасковья Пахитосовна! Прашенька! Заинька беленький, хвостик гореленький! Сядь, обо-

прись на меня лапочкой, закроемся тряпочкой да пошепчемся!» И во всех ее словах, во всей манере и во всей окружающей ее атмосфере веялось что-то ласковое и несчастное, доброе и беспутное.

В этой истории Зинаида Павловна должна иметь свое место с своею вводною историей, которая интересна и сама по себе и по тому влиянию, какое она могла иметь на Прашу.

Введем к одной фефёле еще другую, иного склада и иного лада: ее краткая история представляет в своем роде бытовую картинку.

XIII

Я выше сказал, что Зинаида Павловна была уроженка подгородней слободы. Мать ее была солдатка и занималась плетением кружев на клюшках, а отцом случилось быть усатому поляку, офицеру гусарского полка, стоявшего в городе постоем. От этого случайного союза родилась писаная и несчастная красавица Зинка, которую пятнадцати лет, в ужасный голодный год, тяжкая домашняя нужда, а может быть и материнская подлость, продали купцу-мукомолу. Купец, заплатив за девчонку деньги, взял с нее что хотел, а «остальную часть» бросил. Остальное это было вся ее душа и все тело, доставшиеся теперь на посмеяние людям.

Так Зинка начала страдать, и пряталась от всех, и покрывала платком косу, боясь, чтобы нравственные соседи не вымазали ночью дегтем ворот у ее матери. Ее почти никто не видал, но если кто видел, тот замечал, что она «ужасно красива», и почитал себя вправе мануть ее на грех. И в самом деле, как ни глодало ее горе, она все хорошела и, наконец, попала на глаза пожилому сапожнику, который так ею пленился, что прямо спросил ее:

– Пойдешь или нет за меня, если посватаю?

Девушка отвечала:

– На мне был грех.

– Знаю, да ничего не сделать: надо помиловать. Если ты согласна, я посватаю. Она отвечала:

– Я пойду.

Ей было все равно, лишь бы перестать косой трепать, но сапожник был парень сметливый, он любил женскую красоту, да умел и дела делать; он явился к купцу и сказал:

– Ваше степенство! Так и так, был такой грех, разумеется, не в укор вашей чести, потому она девушка бедного звания, но я теперь хочу ее за себя взять, с жалости, чтобы покрыть ее грех, так как ей от людей проходу нет, то вот она меня послала к вам – благословить ее просит. Не обессудьте, ваше степенство!

Купец был в хорошем расположении и отвечал, что «клик божий» ему над Зинаидой «держат зазорно», а он так просто дает ей сто рублей на приданое.

Сапожник поклонился в ноги и, получая деньги, поцеловал руку, а затем женился на Зинаиде, разумеется ни слова не сказав ей о подаренном ей от купца приданом. В браке с сапожником Зинаида пробыла три года. Родила трех детей, сначала дочь, а потом двух мальчиков. Муж ее был человек аккуратный и чудесный мастер, и прошлым ее не упрекал, но до того был ревнив, что даже не позволял ей разговаривать

ни с одним мужчиной. По словам Зинаиды Павловны, он ее ревновал даже к «деревянной ноге» и много раз эту же самую ногой ее бил. Раз она претерпела от него такое наставление, что ее даже сочли мертвою, и это ей досталось за то, что она похристосовалась с своим родным дядей.

– Но, однако, – говорила Зинаида Павловна, – бил он меня не даром, потому что я ужасно его ненавидела.

Когда же этот самый драчун-муж заболел и приступил умирать, то он стал так ужасно тосковать, что Зинаида Павловна над ним разжалобилась, и когда он стал ее просить, чтобы она «сняла образ Курской Заступницы и поклялась, что после него не пойдет ни за кого замуж, то она сняла Заступницу и заклалась».

Сапожник умер, а оставшаяся под клятвою бедная красавица его вдова начала оберегать свои обеты, и хотя ее сватали несколько человек, но она ни за кого замуж не пошла, а как покойник ей ничего на детей своих не оставил, то она для их воспитания *«три раза в мамках служила»*.

Каждый из этих трех эпизодов был неотвратим.

XIV

Начались эти приключения у самой могилы сапожника. Прежде чем гроб успели засыпать, тут случился француз-живописец, который видел, как молодая вдова стояла и плакала, держа в растерянности одного ребенка у груди, а двух прижимала к себе другою рукой. Француз имел живое воображение и доброе сердце: он подал женщине десять рублей и велел ей прийти к себе вместе с детьми, и чтобы все они были в этом же самом платье. Они так и пошли, да у них и не было ничего другого, чтобы надеть на себя. Так француз их и «отрисовал» на картине, совсем как живых, и велел еще и еще приходить, и всякий раз давал за это по три рубля. Зинаида Павловна этим очень поправилась и боялась только, что доход ее прекратится, как только кончится «рисовка». Однако опасение ее было напрасно – «рисовка» кончилась, благополучное соотношение не прекратилось, но только лишь переменилось. Как скоро француз кончил одну картину, он «детей отставил», а матери сказал: «Теперь, *chère amie*,¹⁸ мы будем делать другую фигуру». И он велел ей приходить одной и переодеваться у него в

¹⁸ Милый друг (франц.).

очень нарядный крестьянский убор, после чего она должна была брать в руки сноп соломы, путаные васьильки и серп, и так она стояла, пока он произвел еще одну картину, которая стояла на одной из парижских художественных выставок с надписью: «Devouschka krapivouscou jala», но и после этого француз продолжал ее поддерживать и доставлял ей с детьми что им было нужно, но зато она была беременна... и бог весть для какой надобности. К счастью, однако, бог дал, что это вышло прекрасно: у живописца ее часто видел один генерал, большой любитель всего хорошего, и он уже давно стал ей подмигивать глазки, но тогда француз его остановил и сказал:

– Chacun a son tour, mon général! Chacun a son tour.¹⁹

И когда пришел его «tour», генерал сказал Зинаиде Павловне, чтобы она не робела, что его жена тоже в таком же положении, и если Зинаида пожелает, ее охотно могут взять в мамки, причем генерал обещал тоже разместить в приюты ее детей, которых теперь было уж четверо.

Зинаида Павловна пошла в генеральский дом мамкою, а француз пошел с свободными руками.

– En attendant vive l'amour et vive la bagatelle!²⁰

¹⁹ Каждый в свой черед, генерал! Каждыйсвоей черед (франц.).

²⁰ А пока – да здравствует любовь и да здравствует легкомыслие! (франц.).

Генерал по доброте и простоте тоже был не хуже француза, но, кроме того, он был и человек могущественный и устроил всех четырех ребятишек Зинаиды Павловны, а зато и его дитя было прекрасно выкормлено, но незадолго перед тем временем, когда ребенка надо было отнимать от груди, генеральша уехала в Ниццу к больному отцу, а генерал сам наблюдал за порядком в детской, и результатом этого вышло, что бедная Зинаида Павловна опять пострадала, подпав своей ужасной судьбе, которая не хотела дозволить, чтобы ей хоть что-нибудь сошло без последствий. Генерал, впрочем, тоже ее «не оставлял», а она, дождавшись своего времени, поступила в мамки на третье место, где опять на ее несчастье по субботам брали в отпуск кадетика. И тогда Зинаида Павловна на себя рассердилась и в четвертый раз в мамки уже не пошла, потому что, по ее соображениям, «в семейных домах жить невозможно». А в это самое время осиротела ее племянница Праша и стала заводить себе прачечную. Зинаида Павловна пришла к ней и предложила жить вместе:

– А то со мною просто ужаси что случается!

Праша ей ответила:

– И лучше!

И вот мы увидели их вместе, бокастенюкую деловитую Прашу хозяйкою, а вальяжную и величественную

Зинаиду Павловну ее правою рукой.

Что эти женщины могут управлять «прачечное заведение», в этом можно было не сомневаться, но как они станут управлять сами собой – об этом можно было гадать надвое. Но, однако, прошел год, и они обе держали себя в порядке. Изредка я встречал Прашу на улице, но чаще видел ее в окно, как она гладила с мокрым от пота лбом и простиралась по гладильной доске не только обеими руками, но даже взбиралась на нее и коленом. Вид она всегда имела деловой, бодрый и озабоченный.

Зинаида Павловна работала спрехвала: она не любила каленого утюга, а больше «прыскала да складывала».

Один раз в течение первого года их хозяйства я заходил посмотреть на литераторского наследника и застал его в отличном положении: он ползал по полу настоящим санкюлотом, с заткнутым за пояс подолом, и махал деревянною ложкой, а неподалеку от него катался горшок с пшенною кашей: всяк ли еще имел в детстве такое благополучие!

XV

Прошло два и три года. Дело у Праши приняло значительные размеры, и жилось им всем хорошо: стирали и «салфеточное» и всякое другое белье уже на несколько гостиниц, и все ими были довольны. Особенно славилась их блестящая выводка пятен «без фимии». Секрета своего против пятен красного вина Праша никому не открывала. Он, очевидно, был очень важен, хотя, по ее словам, он состоял «из самых последних пустяков».

Хорошо или дурно быть такою секретницей, об этом она не думала, да ей это «с тем было и открыто, чтобы другим не говорить». Это надо соблюсти, иначе никому не будет действовать.

Упомянутое достопримечательное средство «показала» ей одна бедная барынька на пароходе: она была из бедных полячек и ехала к мужу в Сибирь, а муж у нее до ссылки его содержал трактир и удивительно в чем провинился: к нему пришли бунтари и говорят:

– Мы, брат, голодны, давай есть, а то повесим.

Он им не стал подавать, а они сами взяли, поели и ушли. Тогда пришли наши и спрашивают:

– У тебя ели?

Он говорит:

– Да, – всё взяли и съели!

Наши его побили, и посудили, и в Сибирь сослали.

Ему и там хорошо.

Полячка на пароходной палубе стыла с своими ребятами.

Праша над нею сжалилась и услужила ей кипятком, просушила их обувь и платишко и «простирула» детское бельишко, а полячка ей за это и сказала секрет. Вот он ей теперь и пригодился.

Одно одолевало Прашу, что она безграмотна, за это она корягла своих родителей:

– Зародят нас, да так безграмотными фефёлами и пусят: вот мне теперь надо много счетов, а писать некому.

Появился какой-то писарь, человек средних лет, по имени Апрель Иваныч. Он был поляк, но состоял счетчиком в русской артели, где его имя «Аврелий» переделали по-русски в «Апрель». Он был человек трезвый, рассудительный и чрезвычайно учтивый. Держал он себя с большим достоинством: не унижался и не лез на фамильярность. Праша его приговорила приходить к ней и писать ей «счета», а он был тронут ее скромностью и не хотел с нее ничего брать за эти занятия, но Праша этого не приняла. Она знала, что женщинам даром ничего не делают, и пример в этом была у нее Зинаида Павловна, которую теперь беспо-

коили дети, начавшие выходить из приютов. Француз и генерала уже и след простыл.

Через год ее старшую девочку шестнадцати лет уже выдали замуж за молодого артельщика, с которым их сосватал Апрель Иваныч. Что за милый человек! Зинаида Павловна была очень ему благодарна и называла его Апрель Мартычем, а дочери своей дала в благословение все образа, какие у нее были, оставив себе всего только одну Курскую Заступницу. Кроме того, она сделала ей несколько соответствующих случаю советов и особенно велела ей первой ступить на подножье и топнуть ногой, когда будет идти «Павла чтение». Собирала невесту и выдавала ее Праша, которая тоже хвалила Апреля Иваныча за его «учливость», и особенно за то, что он «о сироте позаботился». Так нравился он и другим женщинам, с которыми ласково говорил и в свободное время читал всем «Телемака».

Праша думала, что он «к ним привьется», и именно на счет Зинаиды Павловны, которая всем нравилась. Правда, что она не работница, но ведь зато как хороша! Пусть женится: она им поможет, вместе жить будут. Но вдруг все это повернулось иначе, и Праша пришла ко мне в neodолимом смущении и истерическим тоном заговорила:

– Я, право, не знаю... такое обретение... Апрель

Иваныч меня замуж просит.

И как это сказала, так села и заплакала.

– Что же вы, идете или нет?

– Да я и не знаю.

– Стало быть, идете.

– Нет, не знаю, а, во-первых, он такой учливый и сироту-девушку устроил, а, во-вторых, моего мальчика любит и им *Пеленака* читает, да подите-ка еще сколько у него и других книжек, и сам он несчастный, потому что ведь никакой у него близкой души нет. Это же правда истинная! Я долго не верила, и другие мне тоже говорили: «Поверь, это он к тебе подлещается, потому что у тебя свое хозяйство, а все поляки льстивые», но это же ведь глупость, и я этому никогда ни за что не поверю, потому что есть всякие люди в каждом народе, но когда по весне мой мальчик заболел при смерти, так Апрель Иваныч над ним ночей не спал, и теперь дитя его, можно сказать, больше меня любит.

– Это вас к нему и расположило?

Праша хотела сказать что-то коротко и откровенно, но вместо того опять заморгала с слезами и истерично отвечала:

– Я этого не понимаю... не знаю, что именно! А только он же один понял, что дитя такого отца, что надо ему открыть все понятия. Вот я его за это... не знаю как уважаю!

И она хотела еще что-то изъяснить, но опять заплакала.

– Так и прекрасно, – говорю, – вы, Прашенька, и выходите.

– Вы советуете?

– Да что же? Отчего нет?

Она молчала, потупив глаза вниз, и, покрасневши, прошептала:

– Отчего же мне это... как будто стыдно?

– Вы разве обещали не выходить?

Она покачала головой и отвечала:

– Покойник об этом никогда и не говорил.

Она остановилась, вздохнула и добавила:

– Ведь это тогда... все только я его обожала и себя не помнила за это счастье, а он только так...

– И Курской Заступнице вы не клялись?

– Нет, – отвечала она с тихой улыбкой и сейчас же вздохнула и сквозь слезы добавила: – Я ведь ничего не утаила, я сказала: «Апрель Иваныч! слов нет, что я очень вами за все благодарна и могу следовать, но только с кем я это дитя получила, то у меня тот человек посейчас в сердце, и я после него ни для кого уже особенных чувств не нахожу». А он мне ответил: «Значит, если и я помру, хорошо делавши, то вы и обо мне хорошо вспомните». Тут уж я взволновалась и говорю: «Что же вы это так себя сокрушаете: сами сва-

таетесь и сами себя хороните?» А он говорит: «Смерти никогда забывать не следует». А я говорю: «Ну, уж это нет... Послушайте, это так вовсе не надо... Станьте рядом, да давайте скорее лучше помолимся, вы по своей вере, а я по своей: пусть что нам бог даст, то и будет».

И когда они помолились, то бог им дал то, что они сделались мужем и женою.

XVI

Апрель Иваныч оказался прекрасным человеком: он нежно любил скромненькую Прашу и удивительно заботился о «писательском сыне». Он завел в доме вечерний кружок у чайного стола и всем здесь читал «Телемака», поясняя из него, что люди живут вовсе не так, как бы надобно жить. К этому же у него служили «Павел и Виргиния», а сам для себя он читал еще более забористые вещи, как-то: «Оправдание Сократово» и «Слово похвальное Марку Аврелию». А затем в жизни со всеми был ласков, и прост, и любезен.

У Праши с Апрелем родилось еще двое детей: мальчик Абрамчик и девочка Пелагеичка. Зато из домашнего штата Праши стала выбиваться Зинаида Павловна, с которою опять начались «туры», и причиною их были дети и жасмины. Выше было сказано, что дети удивили Зинаиду Павловну тем, что они начали подрастать одно вслед за другим, чего мать их совсем не ожидала и совершенно растерялась от этой неожиданности. Она делала все, что могла: плакала и молилась на коленях, но дети все-таки оставались «без предела», а у самой Зинаиды на заплаканных глазах, которым, кажется, надо было померкнуть и ввалиться, вместо того выскакивали ужасные ячмени, или,

как она их называла, «жасмины». Чтоб избавиться разом от жасминов и от детей, Зинаида Павловна готова была выпить самую злую отраву и даже раз выпила пузырек нашатырного спирта и произвела в доме дворовый скандал: в прачечную набежали жильцы, в числе которых были длинный немец «Аплетон», занимавшийся починкою плетеной мебели, и гимназист, который занимался перед окном выпилковкою и потому назывался «Пропилей». Оба они приняли участие и бегали в аптеку, а потом всё стали попадаться Праше на глаза и, наконец, подрались на лестнице. На другой день сухая и жилистая жена «Аплетона» нагло заглянула в окна прачечной и сказала: «Шлюхи!» А бабушка «Пропилея», встретив Прашу, сообщила ей, что она «своего» будет запирать, и вы-де «свою» обуздайте.

Апрель Иваныч не вмешивался, но его стали тревожить ночами движения у двери, и раз он там нашел Зинаиду Павловну, которая ему прямо, но странно сказала:

– Что, Апрель Мартыч? Очень мне, друг милый, чего-то скучно!

И она так сжала ему руку, что точно хотела его куда-то увлечь за собою.

От Праши это осталось скрытым, и Зинаида Павловна изредка только посматривала за двери и гово-

рила, что ей как-то все «кошкой пахнет».

Праша смотрела на нее и отвечала:

– Смотри, у тебя это болезнь.

XVII

Задавались чрезвычайно беспокойные ночи, когда коты совсем не знали покоя сами и не хотели позволять спать людям: они мяукали, скреблись, прыгали, падали с высот вниз, и опять царапались вверх, и, настигая друг друга, дрались так, что сыпалась шерсть, и затем вновь падение и вновь беготня. Эта возня так беспокоила жильцов, обитавших в квартирах, имевших один выход, что то из одного, то из другого жилья среди ночи отворялись двери, и оттуда или кто-нибудь манул домой своего кота, или же чья-нибудь негодующая рука швыряла что попало, чтобы испугать и разогнать полунощников. Так было и в тот раз, когда Апрель Иваныч, придя из бани, лег пораньше и хотел уснуть покрепче, а вместо того он и совсем не мог заснуть от повторявшегося за дверями шума. Он встал и при свете лампадки увидел, что был второй час ночи, но на лестнице за дверью нет-нет и опять раздавалось движение.

«Что за наглые негодяи!» – подумал Апрель и, сунув ноги в туфли, схватил лучинную корзинку с остатками мелких углей и подкрался к двери с тем, чтобы быстро ее растворить и швырнуть корзинкой в котов, как только они зашевелиятся ближе.

Ему и не пришлось долго ждать, потому что немедленно же учинился шум, и с лестницы вниз что-то слетело и замешалось у двери. Апрель Иваныч сию же секунду быстро толкнул дверь, но как она оказалась едва притворенною, то он не соразмерил силы с сопротивлением, сам выпал наружу и очутился с своею корзинкой на грязном полу в куче с «Пропилеем» и «Аплетоном», которые извивались, тормоша один другого за кудри, между тем как чья-то свободная нога наступила на самого Апреля, и в открытую дверь его квартиры скользнула женская фигура.

Апрель Иваныч догадался, что это была Зинаида, и возвратился домой очень сконфуженный, испачканный углем и с порядочным ушибом в колене.

Он покачал головою, вздохнул, обтерся и лег, не сказав ни слова жене ни в первую минуту, ни тогда, когда Праша через полчаса встала с кровати, надела юбку и кофту и прилегла на коротеньком диванчике. Еще через некоторое время она тихонько встала и неслышными шагами пошла к той же двери, от которой отошел ее муж. Но Праша была осторожнее Апреля Иваныча: она оцупала крючок двери и нашла, что он откинут, тогда она тихо отодвинула дверь и сейчас же ухватила своею рукой руку Зинаиды Павловны и потащила ее к себе, но та сделала движение, чтоб освободиться, и на этот шум с верхней площадки сра-

зу слетели две фигуры и сразу схватились друг с другом. Это опять были они: «Аппетон» и «Пропилей».

Праша отлично их узнала и еще решительнее вцепилась в Зинаиду и втащила ее назад, а на дверь наложила крючок.

Теперь Зинаида шла без сопротивления и, придя в свою комнатку, тихо села на кровать и закрыла лицо руками.

Праша хотела тотчас же выйти, но Зинаида Павловна сама ее удержала:

– Что же ты уходишь? – спросила она. – Лучше теперь и ругай, уж кстати!

– Да как ты это выходишь, что тебя даже вовсе не слышно?.. Этак нас обокрадут.

– Ну и что ж делать?

Зинаида ткнулась лицом в подушку и заплакала.

– О чем же ты плачешь?

– О том, что мне тебя стыдно.

– Что ж, я тебе не мать и не сестра, а племянница...

– Это все равно... Зачем ты замуж пошла? Пока ты не выходила, и я жила прелестно, а теперь вот... поползло и поехало.

– Что же, я тебе помешала жить?

– Скучно стало.

– Отчего?

– Сама не знаю: погляжу на вас – и скучно, а лягу

- спать не могу.
- Отчего ж это?
- Не знаю. Сначала дремота, и спать хочу, а потом вдруг как кот... и от кота бурктта...
- Молилась бы на ночь.
- Извольте!.. Еще как и молюсь! И батюшке все говорила, и он все, все, все мне разъяснил, как это и называется, что блюд и что преблюдеяние, но все это ничего не значит! Встань, пожалуйста, на стул – задерни занавеской заступницу.
- Не хочу.
- Нет, сделай милость, закрой ее!
- Праша встала и задернула образ ситцевой занавеской.
- Тогда Зинаида Павловна ее попросила:
- Возьми, пожалуйста, достань там сткляночку...
- Неужели еще пить станешь?
- Да нет, что за глупости!.. Там богоявленская вода... Сбрызни меня скорее, сбрызни!
- Не хочу! – отвечала Праша и, махнув рукой, прыгнула со стула, чтобы уйти, но Зинаида Павловна схватила своею рукой ее руку и удержала.
- Что это с тобой? – спросила сконфуженно Праша.
- Вот сделала так и ничего более... Не пущу!
- А я с тобой говорить не хочу.
- Отчего? Послушай!.. отчего?

– Для чего ты двух держишь!

– Кто их держит? Проклятые!.. один другому шагу ступить не дают.

– Да уж остановись на чем-нибудь!

– Да как же я могу на одном остановиться, когда я их только и вижу, как они вдвоем друг с дружкой сражаются!

– За что же сражаются?

– Ну, что расспрашивать!

– Нет, кроме всяких шуток?

Но Зинаида плакала и, вместо разъясняющего ответа, поцеловала племянницу руку и опять проговорила:

– Вот и ничего более!

– Ну и прощай!

– Да, и прощай, Пахита, прощай!

А когда Праша подошла к двери, она ее окликнула и еще раз сказала:

– Прощай же, Пахита, прощай!

Праша не придавала этому прощанию никакого особенного значения, а такое значение здесь было, потому что на другой день Зинаида Павловна, никем незамеченная, исчезла из дома племянницы и уже никогда более к ней не возвратилась.

Детей своих в Петербурге она поручала Апрелью Иванычу, который и в самом деле устроил, что требо-

валось. Зинаида Павловна отозвалась Праше из Киева. «Не думай, будто я от своих детей убежала, – писала она, – это несправедливо, но меня обидел фершел, который давал не того лекарства от жасминов, и я не захотела оказать себя при замужней дочери, чтоб ей не было стыдно».

Прашу и замужнюю дочь Зинаиды Павловны это известие очень рассердило. Дочь говорила: «Пусть к нам и не возвращается», но Апрель Иваныч заступался за «слабую женщину», и это познакомило Прашу с подозрительностью и ревностью, под влиянием которых она находила большое утешение в том, что такая «слабая женщина» от них отъехала.

С этих пор прошло пять лет жизни тихой и совершенно счастливой, и когда писательский сын был уже в третьем классе гимназии, Апрель Иваныч вдруг стал собираться к родным в свою «поляцкую сторону» и, несмотря на многие неудобства, уехал туда грустный, а возвратился еще грустнее, и как раз в это самое время пришло ужасное письмо от Зинаиды Павловны, возвещавшей Праше, что она живет тем, что чистит ягоды для варенья и что бог тогда же давно дал ей «двойку зараз, мальчика и девочку».

Праше показалось, что это что-то сверхъестественное и не к добру.

– Как это... женщина уже за сорок лет, и столько уже

было детей, и потом еще вдруг сразу рождается пара!
Это к несчастью!

XVIII

Праша поскорее послала в Киев «на зубок» десять рублей, но не написала родственнице никакого письма. Ей было не до того: Апрель Иваныч возвратился в Петербург из своей стороны какой-то расстроенный и с такою скрытною скорбью, что Праша в этом не могла разобраться и понять: в чем дело зависит. Одно время она подумала, не получил ли он каких-нибудь невыгодных для нее сравнений, и сейчас же подумала, чего ей может в его глазах недоставать, и нашла это. Раз утром, когда Апрель Иваныч, по своему обычаю, внимательно осмотрел и пристегнул ранец к плечам уходившего в гимназию писательского сына, Праша походила за мужем с места на место и наконец сказала:

– Апрель Иваныч! вы не думайте, что я другой веры... я за вами последую.

Он растрогался и поцеловал у нее руку, и сказал, что ничто такое не нужно и ничего беспокойного нет.

– Ну, а на всякий случай, – продолжала Праша: – вы это знайте... Мы нигде не пропадем.

Но Апрель Иваныч опять уверил ее, что ничего нет. Праша успокоилась и отвечала:

– Значит, и слава богу. Только руки моей, пожалуй-

ста, никогда не целуйте.

– Отчего?

– Я этого не сттю!

– Не сттите!.. Вы сами не знаете, чего вы сттите!

– Ну, оставим это!.. Я не привыкла... Право, голубчик, не надобно... Я устыждаюсь... Я лучше вас просто так поцелую... потому что я вас теперь ведь люблю... Что вы с недоверием смотрите?! Нет, это верно, верно! Я не солгу, ни за что не солгу... Вот когда вы со мною женились, я вас тогда еще не любила, я вам так и сказала, что «уважать вас я уважаю, но особенно не люблю», потому что тогда еще другой человек у меня всем моим сердцем командовал, а теперь...

– Неужели вы его позабыли?

– Нет!.. Ах, нет, друг мой! Нет! А только, извините ж меня, ведь если мы об этом заговорили, то я должна правду сказать: теперь я ни о нем, ни о вас порознь не думаю, а оба вы вместе для меня как будто в одно слились... Право, это правда, правда, истинная правда! Он, вы, я – это будто совсем все одно, и это, чтт было тогда, и чтт сейчас есть, и что дети рождаются – это как-то как будто мимо уплывает.

Апрель все ее благодарил и успокоивал, но она видела, что он сам не спокоен, и она спрашивала его про родину: где живет его сестра? Нельзя ли послать ей пять фунтов кофейю? Правда ли это была, будто у

них наши взыскивали с тех, кто своих покорमित?

Апрель Иваныч отвечал жене «будто как из-под неволи» и вдруг забредил о какой-то огромной артельной растрате, которую будто он сделал не по своей воле. Но никакой артельной растраты не было, а Апреля Иваныча пришлось отвезти в сумасшедший дом. Пасынок о нем страшно скорбел, и скорбь его перешла в страдание, когда его превосходный вотчим вскоре же умер, истерзанный мучительною тревогой.

Вот вам и Зинаида Павловна и ее «двоешка»!

И с какой стати и для чего ей было нужно писать о всех таких происшествиях в Петербург? Чистила бы себе в Киеве ягоды, и кончено! Да и Праше некогда и нет никакой надобности рассуждать о пустяках. У нее теперь уже не один сын, а *трое детей*, а кормилица у них опять одна она, безграмотная фефёла, и начальство ей не поможет.

В тот же день, как схоронили Апреля Иваныча, литераторский сын стал писать для матери ее прачечные счета и наблюдал, как читают мальчик Абрамчик и девочка Пелагеичка.

Дела у Праши были опять по-старому: через год еще пошли в школу и Абрамчик с Пелагеичкой, а когда они там подучились, их отвели: Абрамчика к дяде повару, а девочку Пелагеичку поставили крахмалить и гладить. Другой карьеры им не намечалось, но стар-

ший их брат, «литераторский сын», все еще учился и достиг того, что «вышел на лекаря». Мать преисполнилась восторгом, что это *она вывела*, и не знала, что бы такое сделать, чтобы дать ход своему сердцу. Она вспомнила о Зинаиде и решила съездить в Киев «отблагодарить бога» и посмотреть, что там делает Зинаида. Может быть, ей худо и она стыдится прийти назад. Надо ее обласкать, и увезти к себе, и жить с нею вместе... И надо это поскорее: нельзя откладывать примирения – смерть так и ходит.

Праша отправилась в Киев, ощущая в себе прилив теплого и нежного чувства; переезжая Днепр, она любовалась видом и плакала, а на другой день пошла в пещеры и, как прачка, заметила, что везде бы все надо помыть. В тот же день она пошла искать по Киеву Зинаиду Павловну, но не могла ее найти: ни в одном конфектном заведении ее не знали. Праше только случайно удалось напасть на след Зинаиды Павловны через посредство послушников монастырской гостиницы, которые все ее знали, но путь к ней был не прост. Послушники указали Праше на двух лиц, имевших в том месте значительное положение. Это были два так называемые старца, которые сидели на сходах лестницы с чашками, прося подаяния. Один из них был слепец Ереней, а другой кривоустый Игнаша. Они просили милостыню, но были люди очень доста-

точные и даже имели в городе дом. Зинаида была у них «за хозяйку».

Праша своим ушам не верила, но это была правда: она пошла разыскивать Зинаиду и нашла ее, ибо она действительно находилась в хозяйках у двух старцев, из которых только один мог видеть благообразие ее лица, именно Игнат «кривоустый», а «слепец» Ереней мог ценить лишь другие ее достоинства.

На хлебах у старцев Зинаида Павловка еще раздобрела и потерпела от лет только в том отношении, что у нее выпало много волос и она облысела; но зато она теперь обвязала себе голову ярким полосатым платком и ходила как святочная туркиня, что опять ей было очень к лицу и делало ее интересною.

Если б ее увидел в этом уборе давний ее обожатель, француз, то в нем, наверное, опять могла бы заиграть его художественная фантазия, и он мог бы выпустить новое произведение, достойное и его и Зинаиды Павловны.

XIX

Обе фефёлы встретились на пороге и были так изумлены, что обе сначала молчали дольше, чем было пристойно друзьям, а потом хотя и заговорили, но их разговор оказался без толка.

Хозяйка спросила гостью:

– Ах, это ты?.. Ну, скажите пожалуйста! Праша, Прашенция!.. Входи же скорее!

Праша вошла и тотчас же села. «Туркиня», повязанная фуляром, ей не нравилась. А та продолжала спрашивать:

– Как же ты поживаешь? Апрель Иваныч помер!.. что, брат, поделаешь? Я. за него подавала на часточку. Хотя он и не нашей веры, но это можно. Раздевайся, Прашенция!

А Праша слушала Зинаиду Павловну и смотрела на нее, а сама удивлялась, отчего у нее до сих пор все такая же пышная и белая шея, и Праша сказала:

– А что, у тебя теперь твои ячмени уже не бывают?

– Бывают! – отвечала Зинаида Павловна. – А ты стала совсем пожилая!

– Еще бы! Сын уже на лекаря вышел. Твои дети тебе кланяются.

– Ох, не говори мне про детей!

- Отчего?.. Все хорошо.
- Все равно... Какая я мать?
- Ничего. Бог даст, будет иначе.
- Нет, уж поздно!

Праша очень хотела продолжать разговор, но им не о чем было более говорить, и никакого применения для тех нежных чувств, с которыми ехала Праша, не оказывалось. Зинаида Павловна потчевала Прашу тем и другим и водила ее по дому, показывала, где спит слепой и где кривоустый. Дом был не маленький, и у всех свои помещения. У слепого было немножко грязновато, но он ведь ничего не видит, а у кривоустого все было совсем как у хорошего купца: и образник и конторка. Спальня Зинаиды Павловны была вся застлана тюменским ковром, в ней стоял пребольшой образник, в котором серединное место занимала ее Курская Заступница. Перед этою образницей горели три лампы, а напротив в углу за пологом взбита большущая перина, уложенная на такой высокой двуспальной кровати, что для входа на нее приставлена была у ног скамейка. Кровать была крепкая, но аляповато выкрашенная темно-зеленою масляною краской с розами на столбиках.

Зинаида Павловна стала показывать гостье свое мастерство, которого она прежде не знала.

Праша увидела глубокие тростниковые корзины,

полные разноцветных лоскутьев плису, манчестеру и иных материй. Из всего этого Зинаида Павловна с девочкой шили шапочки, которые старцы продавали. Зинаида Павловна стала перечислять, как это выгодно. «Мне, – говорила она, – лоскутки носят жидовки, а они берут от шитвиц, а где те достают, я уж того дела не знаю».

– Крадут, – сказала Праша.

– Не знаю, но только я у них на полтину куплю, а нашу шапочек на пятьдесят рублей...

Разговаривая таким образом, Зинаида Павловна водила Прашу по дому, показывая ей то за одною, то за другою дверью боковуши, чуланцы и кладовушечки, а сама участливо ее расспрашивала:

– Ну, а как же ты сама, моя милая Пашенция, в рассуждении того прочего?.. Или еще в самом деле до сих пор все вдовеешь по-настоящему?

– Ну, а то как же еще!.. Разумеется, вдовею.

– Ах, мой друг, в «разумеется» еще иногда что-нибудь «под» – разумеется.

Праша услышала в этих словах что-то «несвойственное» и застенчиво сказала: «Еще что выдумай побесстыжее!»

А как Зинаида Павловна в ответ на это захохотала, то Праша метнулась от нее в сторону и налегла рукою на какую-то дверь, которая легко растворилась и

открыла небольшую светлую комнату с широким мягким диваном, на котором сидел по-турецки, заложив ногу на ногу, здоровеннейший мужчина с косматою головою, в длинном, черном одеянии, перетянутом широким ремнем по здоровому чреву.

Перед иим на столе стояли графины, бутылки, тарелки, табак и папиросные гильзы, а в руке у него была гитара, и когда Праша его увидала, ей показалось, что он одновременно, за раз пользовался всеми своими способностями, то есть пил, жевал, курил и играл на гитаре, а вдобавок, увидав обеих женщин, простер к ним свои радушные объятия и весело крикнул:

– Ходите обе до купы!

Праша метнулась назад и с гневом отшвырнула Зинаиду Павловну, которая как будто хотела отрезать ей отступление, – и она задрожала и спутала у себя в голове все соображения, кроме того, что тут ужасно и опасно. А Зинаида Павловна, как всегда равнодушная к тому, что к массе ее грехов обнаружился еще один грех, доброжелательно убеждала свою вдовствующую племянницу:

– Брось-ка ты свои лоханки, Прашенция, и оставайся здесь, я тебя с душеполезным монахом познакомлю. – Но этого Праша так испугалась, что сейчас же начала прощаться, а когда Зинаида еще хотела ей что-то сказать, она ответила:

– Нет, пусти скорей, мне у тебя страшно.

– Да чего-о?

– Не знаю... я испугалась, – и она ушла, так нелепо простившись, что ничего не сказала о детях и не жалела, что не говорила ни о чем дельном.

– Я почему-то вдруг поняла, – говорила она, – что чем говорить о том, о чем нельзя говорить, лучше молчать.

Она осталась только еще на один день, чтобы посмотреть, «как Владимира памятнику церемонию делают», и, увидав, как в пристрашный жар несколько солдат в мундирах упали замертво на мостовую, совсем расстроилась и уехала на север. По дороге в вагонах успокоилась и стала размышлять, что ей еще нельзя быть в толпе, что она человек тихий и ей нужна тишина. Дети ее на ногах, и у всех у них есть свой ум и рукомесло, ей уже можно теперь пожить для себя.

– А как для себя хорошо пожить! Я этого, вообразите, во всю жизнь никогда не думала, а тут вдруг как будто кто-то точно стоит в потемочках в уголке вагона и мне напоминает, что хотя я прожила в большом счастье, но я ведь мужа с женой разлучила, что об этом забывать худо, а лучше думать об этом!

И это ей сделало пользу.

XX

Один великий человек сравнивает нашу жизнь на земле с положением пассажиров, едущих на корабле, который совершает далекое плавание. Кормчий пускает их погулять по острову, к которому пристало судно, но дает всем наставление не отходить далеко и спешить назад на корабль по первому звуку призывной трубы. Кто ходит недалеко и помнит о своем кормчем, тот не прозевает его сигнала, и успеет в свое время, и поплывет далее, а кто заберется далеко и там расположится, как дома, тот или совсем сигнала не услышит, или если и услышит, то не успеет прибежать на корабль, а останется на этапном острове, где ему казалось, что тут его настоящее жительство, и тогда так и придется ему оставаться на острове с дикарями, которые готовы поесть друг друга.

Праша, очевидно, ходила не дальше того, откуда она могла услышать то, что ей надо было услышать, чтобы не жить с дикарями.

Первою приметой, что до слуха Праши долетел отзывающий звук, было то, что она стала равнодушна к таким вещам, на которые ранее всегда обращала внимание. Она всегда любила быть в аккурате, (и вдруг начала выходить на улицу в пальто, надетом в один

рукав или вовсе внакидку, «по-генеральски».

Это заметили лавочники и дворники и говорили:

– Преудивительно, никогда так не ходила; всегда, бывало, идет в аккурате, а теперь одну руку в один рукав всунет, а другую забудет, и еще локоть подопрет, – совершенно старый генерал ползет.

Ей об этом шутя говорили, но она как будто не понимала даже, о чем речь, и продолжала «ходить по-генеральски», а потом стали замечать, что она перестала возражать и спорить и на многое старалась «смотреть мимо». И потом вдруг перестала бояться крыс, мертвых и грозы и ничего решительно не желала, кроме тихого уединения, которого ищут околевающие животные.

Она сдала свое заведение и на вырученные маленькие деньги купила себе маленькое хозяйство в Финляндии, где обмывала и обнищала выкармливаемых крестьянами подкидышей воспитательного дома.

От здешней ли тишины или от чего другого, в уме Праши стали проявляться понятия, каких прежде не было: сообразно перемене понятий, она изменяла и свои отношения к тому, до чего это касалось. Так, например, она не только не хотела говорить что-либо во вред людей того края, где стала жить, – это делают и другие, кому законность и порядок приятнее произвола и беспорядка, – но она утратила всякий вкус к по-

хвальбе и неохотно приезжала из своей избы в Петербург. Зато она имела то, чего разумно искала: покой.

Одной неугомонной Зинаиде Павловне суждено было делать последние испытания духовного и умственного роста Праши. Престарелая красавица была угнетаема потребностью делиться своими успехами в свете и неожиданно прислала неграмотной Праше письмо, в котором извещала ее, что из двух киевских старцев Зинаиды Павловны один, «слепой», вышел из их компании и, найдя себе в Киеве племянницу, уехал с нею жить в Воронеж, а зато другой старец, «кривоустый», так Зинаиде покорился, что «поженился на ней законным браком». Зинаида Павловна, с одной стороны, была очень рада, что теперь она опять замужняя, а с другой – она боится, как бы ей не было наказания от бога за то, что она поклялась не выходить замуж после своего первого мужа.

Праша не хотела ей отвечать на это.

– Если б я сама умела писать, я бы ей написала, что уже как мне теперь сорок лет, то мне в это время все источники жизни должны затвориться.

Соседние сироты-дети и чухны Прашу скоро узнали и полюбили, она их тоже.

XXI

Из чухон у Праши даже завелся один приятель; это был беднейший старик Авель. Он жил как гном, в какой-то земляной норе, и Праша его спервоначалу даже немножко пугалась. Низенький, кривоногий и косматый и притом очень старый, но черноволосый без седины; одет всегда в овечьей куртке черною шерстью вверх, а штаны из кожи. Днем он сидел над своею ямкой и плел кошель, а сам пел. Все что-то пел, а ночью опять выползал и долго-долго бродил между большими камнями, а потом взлезал на камень и дремал. Праша скоро узнала, что старый Авель человек не страшный, и перестала его бояться. А потом спросила его: что он поет?

Он отвечал:

– Сальми.

– А зачем сидишь наруже ночью?

– Лушаю.

– Что же ты слушаешь?

– Чего усами услыхать нельзя.

«Должно быть, он помешанный, – подумала Праша, а выходить из избушки и сидеть наруже и ей понравилось. – Сидишь в тишине и до того утихнешь, что вдруг что-то слышишь: точно как будто Апрель Ивано-

вич *Пеленака* читает».

– Авель! – говорит Праша, – я у вас научилась сидеть на дворе ночью.

– Хоросо... сити!

– А для чего вы, Авель, вокруг камня ходите?

Авель не понял и замотал головою.

– Для чего вы на другую сторону всё смотрите?

Авель понял, как хотел, и отвечал:

– И ты смотри на другую сторону!

И Праше понравилось, что Авель говорит о небесном: как смотреть «на другую сторону жизни».

Ей стало приятно смотреть, как чухонский лохматый Авель старается услышать слухом неслышное и заглянуть на сторону невидимую, и она стала выходить ночью и подолгу сидеть с Авелем здесь между камнями. Сурово, строго и свежо как в воздухе, так и на душе. И капитанская труба с судна нет-нет да и раздастся, раз от разу зычнее.

Наконец была даже Праше наивысшая радость: от нее совсем отступил бледнолицый страх смерти. Но жизнь иногда еще трогала.

XXII

Раз Праша получила письмо; она отгадала, что это от Зинаиды Павловны, и спрягала его до свидания со мною. Письма Зинаиды Павловны Праша понимала за небезопасное по своему содержанию, соблазнительное чтение, которое могло смущать неопытные души. И то, которое находилось теперь в ее руках, было такое же: отцветшая красавица начинала его приветом «Паше-Праше-Пашенции», а потом извещала, что, бог дал, она овдовела и теперь уже «по батюшкиному благословению определилась в монастырь», где начальницею та самая дама, у которой Праша «мужа отбила».

Праша побледнела и вздрогнула. Я хотел прочесть далее про себя, но она оправилась и просила читать вслух.

Зинаида описывала, как эта дама стала теперь «жизни высокой» и может обо всем говорить по-христиански, и сын у нее грубиян, живет с актерами, но она его простила и Прашу простила. Но тут Праша перебила и сказала:

- Ну вот, и я ее простила.
- Это хорошо.
- Я ее давно простила. Она тогда мне за три месяца

жалованья не отдала. Это бы нам на хлеб годилось, но я это-то ей и простила, но только не стоило бы нам с нею об этом вспоминать нынче.

Кроме начальницы, Зинаида писала, что «есть у них в обители много разных святынь, но много и искушений», так что Зинаида Павловна «днем молится, а ночью иногда котомку шьет и бежать хочет, но как только ударяют к заутрене, дьявол от нее отлетает», а «скоро она уже примет ангельский чин, и тогда ей уже нет и не будет возврата в мир земной, где все искушение». Но хотя сама Зинаида и спаслась, но она еще не спокойна за нее, Прашу, и по любви своей к ней увещает ее, чтобы она скорее одумалась и, отложив все заботы, укрылась в обитель. «Здесь станам жить с тобою в одной келье и вместе умолять всевышнего за весь грешный род человеческий».

– Ня! – воскликнула Праша и еще сильнее побледнела.

– Что вы хотите сказать?

– Не читайте больше.

Но тут старушка Праша живо взяла из моей руки письмо красавицы, разорвала его на мельчайшие части и бросила их в топившуюся печку. Потом мы просидели несколько минут тихо, и после я ей сказал:

– Не надо сердиться.

– Я и не сержусь, – отвечала Праша, – а то она мне

советует замуж, то к монаху, то самой в монахини. Какой беспококой! А мне хорошо.

И она сама рассказала мне, как она ходит в темноте между камнями и говорит с Авелем или читает одна «Отче наш». Теперь уже она вовсе не боится смерти и всегда чувствует одну радость.

Авель ей натолковал:

– Ты нечего-та не пойма-та!.. Он-то тебя посовет-та! Де тебе нато-то, ты там-то и будес!

– И знаете, – закончила Праша, – я так и чувствую, что я там, где мне надо.

Она ласково улыбалась и как бы ждала, чтобы я ей что-нибудь возразил, но я молчал.

Вскоре после этого Праша и совсем «ушла в другое место». Раз утром нашли дверь ее избышки широко открытую, а тело хозяйки лежало на камне, и на устах у нее было несколько капель крови, с которою жизнь улетела из ее разорвавшегося сердца.

Так кончила свой воспитательный курс на земле эта фефёла, которая мне кажется довольно обыкновенною русскою женщиной, которая никого не погубила и себя усовершила в земной жизни, но в этом ей ничего не помог ни литератор, которого она любила, ни простой человек, который ее любил. Но она была хороша для всех, ибо каждому могла подать сокровища своего благого сердца. Если бы писатель жил долго,

я думаю, что он бы ею наскучил и она окончила бы свою жизнь гораздо хуже.

*Впервые опубликовано – журнал «Русская мысль»,
1894.*